

ФЕДОР АБРАМОВ

БАБИЛЕЙ

Рассказ

(фрагмент)

...

Мы вошли в заулок к Юшковым как раз в то время, когда там плясали под гармошку. Плясали всем скопом, всем застольем: бабы, девки, старухи, мужики, еще не пьяные, вывалившиеся на улицу, должно быть, первый раз. И плясали кто во что горазд. Кто, распарившись, одурев в избяной жаре, просто топтался на месте, только поворачивался, помахивая платком, чтобы получше обдуло вольным воздухом, кто, наоборот, молотил ногами насмерть, точно он задался целью во что бы то ни стало скрыть зеленый лужок в заулке, насквозь пробить в земле дыру, а кто — парни, мужики, которые помоложе, — жеребцами резвились вокруг молодой синеглазой бабенки с гладко зачесанной головой — сразу было видно, что она тут первая красавица.

И именно эта-то бойкая бабенка первой и увидела нас с Евстолией.

Увидела, подбежала, с ходу обняла Евстолию, а затем и меня.

— К столу! К столу! — закричала и, подхватив нас под руки, повела в избу.

— Вот сюда, вот сюда! На самое почетное место! Столы, расставленные вдоль стен буквой «п», ломились от всякой еды, от печева, от морошки — я в жизни не видал такой отборной, такой зрелой ягоды да еще в таком количестве: тут она была полными тарелками, большими, как тазы, эмалированными мисками.

Как водится, нас заставили выпить по штрафной — дружно, всем застольем навалились, а молодая синеглазая бабенка — она села напротив нас — еще и присказку присказала:

— До дна, чтобы муха ног не замочила.

— А где сами-то хозяйева? — спросил я на ухо у Евстолии.

— Чего, чего?

— Где, говорю, юбилярша да Гордя?

Евстолия голову откинула назад, залилась на всю избу.

— Да ведь он не узнал тебя, Катерина! — сказала она молодой бабенке. — Говорит, где хозяйка да Гордя.

— Молчи! — махнула рукой грузная, широколицая старуха в старинном повойнике с ярким парчовым донышком. — Я суседка и то не узнала, а ему чего дивья. Много ли он видал ей?

Я видал Катерину, видал не один раз и даже помнится, лет пять-семь назад чай у них пил, но большая ли радость смотреть на деревенскую бабу, задавленную колхозной и домашней работой, ребятишками, мужем? А Гордя был гроза тот еще: муха не пролети в избе, когда он дома. Сам пьяница, работник — выше караульщика склада на моей памяти не поднимался, инвалид глупости, как сам иногда подсмеивался над собой (гранатой левую руку еще в школьные годы оторвало), а так сумел поставить себя и в семье, и в Юрмоле, что все старались держаться подальше от него.

— Да, вот как тебя, сеструха, пензия-то подняла!..

...

... Видывал я за свою жизнь плясунов и плясуний всяких. И профессиональных и самодельных. Да Катерина, если на то пошло, и вообще не была плясуньей — сразу было видно, в каких она отношениях с половицами: хлоп да скок, да притоп, да картошки

мешок. Но столько в ней было молодого задора, такая резвость, такая неутомимость в ногах, во всем теле, так ладно, не по-бабьи выглядел ее стан, перетянутый узким черным лакированным ремешком, какие давно уже вышли из моды, такое счастье, такая синяя радость хлестала из глаз, что все притихли, все залюбовались ею.

— Смотри-ко, смотри-ко, — зашептала мне на ухо Евстолия, — ведь она с дочерьми поменялась. Дочерям надо на пенсию-то выходить, а не ей.

И это была правда. Старыми, несъедобными обабками выглядели дочери перед матерью, и только руки выдавали ее возраст. Большие, тяжелые крестьянские руки, черные, жиловатые, с обломанными ногтями, руки, которые за свою жизнь переделали видимо-невидимо всякой работы.

Какое-то время Катерина скакала одна, а потом выскочил к ней один пасынок, другой, третий... И стоном застонала изба. И что еще все сразу же заметили: Гордины сыновья так и едят глазами Катерину, так и льнут, так и липнут к ней: кровь взыграла в мужиках.

И в конце концов дочери не выдержали:

— Мама, мама, срамница! Не смей ты людей-то, бога ради.

Катерина не по-бабьи, по-мужичьи топнула ногой:

— Цыц у меня! Мой сегодня день! Мой! Вы сколько в году-то пляшете, а я, может, первый раз за всю свою жизнь.

— Дуй, дуй, Катька! — выкрикнула Маланья.

И раззадоренная этими выкриками, Катерина сама уже наддала жару:

— Молчать у меня! А то живо мужиков отобью.

Хохот грянул по всей избе. Проснувшийся Виталька-бригадир дико заорал:

— Протестую! Не имеете права!

Но людям было не до него. Всех захватило бесшабашное веселье, даже я под столом притопывал ногой, а потом, когда высыпали на улицу — невольно стало в распаренной, как баня, избе, — началось и совсем черт-те что. Маланья, старая квашня Маланья пошла в пляс.

— Не спи, не спи, гармонист! Заморозишь!

Катерина по-прежнему ни минуты не давала себе передышку. Три гармониста сменилось за это время — у Горди все сыновья пилили понемногу, самые здоровые мужики сходили с круга, а эта тончаява бабенка в голубом платьишке, перетянутом черным лакированным пояском, все била и била ногами, и дешевенькое серебряное колечко ярко вспыхивало у нее на черной тяжелой руке.

Пляску прервал рев коровы на задах, которую, надо полагать, пригнали из поскотины.

— Ну, Малька, Малька, — сказала Катерина, тяжело переводя дух, — не дала ты мне досыта наплясаться. Пляшите! Я живо управлюсь.

— Да что ты выдумываешь-то? — сказала Маланья. — Есть у тебя девок-то. Немало. Неуж в такой-то день за мать не подоят?

Катерина осталась — к корове пошли дочери.

— Играй! Выворачивай меха наизнанку! — распорядилась она.

Гармонист послушно запиликал, но тут уж взмолились все бабы:

— Хватит, хватит, Катя! Землю нам все равно наскрозь не пробить.

— Ну тогда по деревне. С песней! Как бывало.

Вечернее солнце за рекой садилось в тучу. И оттуда, с реки, доносились свои, железные песни — похоже, там с добрый десяток на разных скоростях рыскало лодок с подвесными моторами.

Обнявшись друг с другом, мы шагали двумя рядами по плотно заросшей дерном улице (в Юрмоле редко теперь проедет трактор или телега) и пели любимую Катерины — «Солдат вернется...».

Не радовала глаз Юрмола. Новой постройки ни одной (лет пять уже запрещено всякое строительство), исправные дома тоже наперечет, а общая картина — разорение, распад деревни: заколоченные окна, захламленные, поросшие собачьей дудкой пустыри, на которых когда-то кипела жизнь, и старые-престарые избы с провалившимися крышами, в которых сутками напролет пиновала птица мира...

Старая Маланья первая не выдержала — расплакалась:

— Не вернется, не вернется больше солдат в Юрмолу. Кончается родная деревенка...

И тут все старухи и бабы, еще какую-то минуту назад предававшиеся беззаботному веселью, вдруг заголосили, завыли, как на похоронах.

Я, воспользовавшись всеобщей сумятицей, незаметно нырнул в заулочек к знакомому мне дому.

Утром меня растрясла Евстолия...

© Абрамов Ф.А., правообладатели

Источник публикации: Бабилей : [рассказ] // Нева. - 1981. - № 1.— С. 97-104